

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я — медь звенящая, или кимвал бренчащий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею денег — то я ничто.

И если я раздам все имущество мое и отдам тело мое на сожжение, а денег не имею, нет мне в том никакой пользы.

Деньги терпеливы и милосердны, деньги не завидуют, деньги не превозносятся, не гордятся; не бесчинствуют, не ищут своего, не мыслят зла; не радуются неправде, а сорадуются истине; все покрывают, всему верят, на все надеются, все переносят /.../

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, деньги. Но деньги из них больше.

(Адаптировано)¹

¹ Оруэлл саркастически переиначивает гл. 13 Первого послания к Коринфянам, заменяя в тексте слово «любовь» на слово «деньги». — *Здесь и далее примечания переводчика.*

Часы пробили половину третьего. В задней служебной комнатке «Книжного магазина Маккечни» Гордон — Гордон Комсток, последний отпрыск рода Комстоков, двадцати девяти лет и уже изрядно потрепанный, — навалился на стол, щелчками большого пальца открывал и захлопывал пачку дешевых сигарет «Цирк».

Слегка нарушив уличную тишь, еще раз прозвонили часы — с фасада «Принца Уэльского» напротив. Гордон заставил себя наконец сесть прямо и сунул пачку поглубже во внутренний карман. Смертельно хотелось закурить. Увы, только четыре сигареты, среда и денег ждать до пятницы. Слишком хреново изнывать без табака и вечером, и весь день завтра. Уже страдая завтрашней тоской по куреву, он встал и пошел к двери — щупленький, миниатюрный, очень нервный. Средней пуговицы на пиджаке недоставало, правый локоть протерся, мятые брюки обвисли и замызгались, да и подметки, как пить дать, вконец сносились.

В кармане, когда он вставал, звякнула мелочь. Точно было известно, сколько там — пять с половиной: два пенса, полпенни и «везунчик». Замедлив шаг, Гордон достал проклятый рождественский трехпенсовик. Вот идиот! И как это позволил всучить себе дурацкую медяшку? Вчера, когда покупал сигареты. «Не возражаете против «везунчика», сэр?» — пропищала стервоза продавщица. И уж конечно, он не возразил: «Да-да, пожалуйста». Кретин, придурок!

Тошно, если в наличии всего пяток пенсов, три из которых даже не истратить. Как ты заплатишь этой ерундой для пирога? Не деньги, а разоблачение. Таким болваном достаешь «везунчик» не в россыпи других монет. Говоришь: «Сколько?» — и тебе чирикают: «Три пенса». И, порывшись по карманам, выуживаешь, будто в пуговицы играешь, на конце пальца эту жалкую нелепость. Девчонка фыркает — мгновенно понимает, что у тебя больше ни пенни, и быстро шарит глазом по монете, не налип ли ошметок теста. И ты, задрав нос, выплываешь из лавки и никогда уже не смеешь переступить ее порог. Нет! «Везунчик» не в счет. Два с половиной, два пенса да полпенни до пятницы.

Тянулся час послеобеденной пустыни, когда клиенты заглядывали в магазин редко или вовсе не появлялись. Когда он одиноко бродил тут среди тысяч книг. Смежную со служебной, темную, пропахшую старой бумагой комнатен-

ку сплошь заполняли книги из разряда ветхих и неходовых. Фолианты устаревших энциклопедий покоились наверху штабелями, как ярусы гробов в общих могилах. Гордон отдернул пыльную синюю штору перед следующим, по-лучше освещенным, помещением — библиотекой. Типичная «два пенни без залога», магнит для книжного ворья. Разумеется, одни романы. И *какие!* Хотя, конечно, кому что.

С трех сторон от пола до потолка полки романов, разноцветные корешки рядами вертикальной кирпичной кладки. По алфавиту: Арлен, Берроуз, Гиббс, Голсуорси, Дипинг, Пристли, Сэппер, Уолпол, Франкау... Гордон скользнул глазами с вялым отвращением. Сейчас ему были противны книги вообще и более всего романы — жуть, брикеты вязкой недопеченной дряни. Пудинги, пудинги с нутряным салом. Стены из сотен тошнотворных кирпичей, упрятан и замурован в склепе из пудингов. Гнетущий образ. Сквозь открытый проем он двинулся в торговый зал, на ходу быстро поправив волосы (привычный жест — вдруг за наружной стеклянной дверью барышни?). Внешность Гордона не впечатляла. Рост всего метр семьдесят, и голова из-за чрезмерно пышной шевелюры кажется великоватой. Ощущение малорослости вечно держало начеку. Под посторонним взглядом он вытягивался, браво выпятив грудь, с видом надменного презрения, порой обманывавшим простаков.

Снаружи, однако, никого не было. В отличие от прочих помещений торговый зал, предлагавший тысячи две изданий, не считая теснившихся в витрине, выглядел нарядно и респектабельно. У входа красовалась выставка книжек для детей. Стараясь не зацепить взглядом мерзейшую суперобложку с имитацией изощренного стиля 1900-х (проказники эльфы резвятся в чаще узорчатых травинок), Гордон уставился на пейзаж в дверном окне. Пасмурно, ветер все сильнее, небо свинцовое, бульжник покрыт слякотью. Тридцатое ноября, денек святого Эндрю. Угловой книжный магазин стоял на перекрестке, перед неким подобием площади. Слева виднелся могучий вяз, дерево совсем облетело, ветки прочерчены острой графической штриховкой. На другой стороне, около паба «Принц Уэльский», громоздились щиты с рекламами патентованных яств и снадобий. Галерея кукольно-розовых страшилищ, излучавших дебильный оптимизм: ЭКСПРЕСС-СОУС, ГОТОВЫЙ ХРУСТЯЩИЙ ЗАВТРАК (*«Детишки утром требуют хрустяшек!»*), АВСТРАЛИЙСКОЕ БОРДО, ШОКОЛАДНЫЙ «ВИТОЛАТ», ПОРОШКОВЫЙ СУПЕРБУЛЬОН (*«Вот кто действительно вкушает наслаждение!»*). «Супербульон» терзал особенно свирепо, демонстрируя благонравного крысенка с прилизанным пробором и улыбочкой над тарелкой бурой жижи.

Гордон отвел взгляд, сфокусировав его на мутноватом дверном стекле, глаза в глаза с собственным отражением. Неказист. Тридцати нет, а весь вылинял. Кожа серая, и морщины уже врезались. Из «симпатичного» один высокий лоб; лоб-то высок, зато маловат острый подбородок, так что лицо какой-то грушей перевернутой. Волосы тусклые, лохматые, губы кисло кривятся, глаза то ли карие, то ли в зелень. Он снова устремил взгляд вдаль; зеркала в последнее время страшно раздражали. На улице было по-зимнему угрюмо. Охрипшим стальным лебедем плыл по рельсам скрежещущий трамвай, вслед ему ветром мело клочья листьев. Прутья вяза мотались, изгибаясь на восток. Надорванный угол плаката, воспевавшего «экспресс-соус», отклеился и судорожно трепетал длинной бумажной ленточкой. Шеренгу голых тополей в переулке справа тоже завихрило, резко пригнуло. Гнусный сырой ветер. Чем-то жестоким повеяло, первым рычанием лютых холодов. Две строчки начали пробиваться в сознании Гордона:

Лютый ветер-налетчик... нет. Налетчиком лютым (зловещим? свирепым?), неумолимым. Ну? Строй нагих тополей пригибает... деликатный какой — «пригибает». Резче, резче!

Налетчиком лютым, неумолимым
Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Нормально. С рифмой на «ветер» одуреешь, но уж сто вариантов было после Чосера, най-

дешь как-нибудь и сто первый. Однако творческий порыв угас. Рука перебирала монеты в глубине кармана: два пенса, полпенни и «везунчик». Мозги заволокло, иссякли силы на рифмы и эпитеты; очень тупеешь с капиталом в пару пенсов.

Глаза опять вперились в лучезарных рекламных пупсов, личных его врагов. Машинально он перечитывал слоганы: «Австралийское бордо — вино британцев!», «Ее уже не душит астма!», «Экспресс-соус подарит радость муженьку!», «С плиткой «Витолата» бодрость на целый день!», «Наши трубки не гаснут под дождем!», «Детишки утром требуют хрустяшек!», «Вот кто действительно вкушает наслаждение!»...

Эге, вроде наметился клиент (стоя у входа, можно было наискось через витрину незаметно наблюдать подходивших). Возможный покупатель — немолодой господин в черном костюме и котелке, с зонтиком и портфелем; тип стряпчего из провинции — круглыми водянистыми глазами рыскал по обложкам. Гордон проследил направление его поисков. Вон оно что! Господин разнюхал в углу первое издание Д. Лоуренса. Слышал, видимо, краем уха насчет «Леди Чаттерлей», жаждет клубнички. И физиономия-то порочная: бледная, рыхлая, оплывшая. На вид валлиец, так или иначе набожный протестант. Рот поджат зачерствевшей сектантской складкой. У себя там президент

какой-нибудь Приморской Лиги Нравственной Чистоты (резиновые тапки и фонарик для выявления парочек на пляже), а сюда приехал покутить. Хоть бы вошел, подсунуть ему «Женскую любовь» Лоуренса — то-то бы разочаровался!

Увы, струхнул валлийский стряпчий, зонтик под мышку и праведно потопал прочь. Зато уж вечером, когда стемнеет, стыдливо прокрадется в подходящую лавочку прикупить себе «Забавы за стенами аббатства» Сэди Блэкис.

Гордон повернулся к полкам. Напротив входа шикарной радужной мозаикой (приманкой через дверное стекло) сверкали издания новые и почти новые. Глянцевые корешки, казалось, изнывали в томлении, умоляя: «Купи, купи меня!» Романы свежайшие, только из типографии — невесты, вождедеющие потерять невинность неразрезанных страниц. И экземпляры, побывавшие в руках, — юные вдовушки, хоть и не девственные, но еще в цвету. И наборами по полдюжины всякая всячина из так называемых остатков — престарелых девиц, продолжающих уповать в безнадежно затянувшемся целомудрии. Гордон поспешно перевел глаза, по сердцу, как всегда, полоснуло: единственная его книжонка, которую он за свой счет издал два года тому назад, была распродана в количестве ста пятидесяти трех экземпляров, после чего пополнила «остатки» и даже так ни разу более не покупалась. От парадных

стеллажей он развернулся к стоявшим поперек полкам с явно подержанным товаром. Отдельно поэзия, отдельно самая разнообразная проза, выставленные по особой вертикальной шкале, когда на уровне глаз шеренги изданий поновей, подороже, а чем выше или чем ниже, тем дряхлей и дешевле. В книжных лавках отчетливо торжествует дарвинизм; жестокий естественный отбор предоставляет сочинениям ныне живущих место перед глазами, тогда как творения мертвых, низвергнуты они либо вознесены, неуклонно вытесняются из поля зрения. На нижних полках величаво тлела «классика», вымершие гиганты викторианской эры: Скотт, Карлейль, Мередит, Рескин, Патер, Стивенсон; имена на переплете пухлых томов едва читались. Под самым потолком, куда и не заглянешь, дремали биографии королевских кузенов. Чуть ниже имеющая некий спрос и потому довольно различимая «религиозная» литература. Все секты, все вероучения без разбора: «Потусторонний мир» автора под псевдонимом Испытавший Касание Духа, «Иисус как первый филантроп» декана Фаррера, католический трактат патера Честнута — религия предусмотрительна насчет разного покупательского вкуса. А прямо перед глазами опусы современности. Последний сборник Пристли, нарядные томики переизданий всяких середнячков, бодренький «юмор» производства Герберта, Нокса и Милна. Втиснут и кое-кто из

умников; пара романов Хемингуэя и Вирджинии Вульф. Ну и конечно, шикарные, якобы вольномысленные, а на самом деле до предела отцеженные монографии. Пресная тягомотина об утвержденных живописцах и поэтах из-под пера этих сонно-кичливых молодчиков, что так плавно скользят из Итона в Кембридж, из Кембриджа в литературные редакции.

Мрачно обозревая стену книг, он все тут ненавидел: продукцию классиков и модернистов, умников и пошлых болванов, остряков и тупиц. Один вид бесконечной книжной массы напоминал о собственном бесплодии. Стоишь здесь, вроде бы тоже «писатель», а «писать»-то не выходит. Чего там опубликоваться — сотворить ничего не можешь, почти ничего. Любая чушь на стеллажах по крайней мере существует, как-никак сляпана, даже дипинги и дэллаы ежегодно выдают на-гора килограммы своей писанины. Но гаже всех издания «по культуре», ленивая жвачка сытых кембриджских скотов, именно тот жанр критики или эссе, где сам Гордон мог бы работать, будь он побогаче. Деньги и культура! В такой стране, как Англия, «культурный мир» для бедняка не более доступен, чем Клуб кавалергардов. С инстинктом, побуждающим шатать ноющий зуб, он вытащил увесистый кирпич — «Некоторые аспекты итальянского барокко», открыл, прочел абзац и, содрогнувшись от омерзения и зависти, пихнул книгу обратно. Что за

всезнайство! Что за гнусный менторский тон! И сколько стоит достичь столь изящной учености? В конце концов, на чем все это основано, если не на деньгах? Дорогая порядочная школа, среда влиятельных друзей, досуг, покой высоких размышлений, поездки по Италии. Деньгами книги и пишутся, и выпускаются, и продаются. Господи, не надо благодати — лучше подкинь денег, Отец Небесный!

Он позвякал монетами в кармане. Скоро тридцать, и ничего не сделано; один тощий, как блинчик, сборник стихов. И уже два года блужданий в лабиринтах задуманной большой поэмы, которая нисколько не продвигается и, как порой становится ясно, никогда и не продвинется. Нет денег, просто-напросто нет денег, твердил Гордон привычное заклинание. Все из-за денег, все! Напишешь тут хоть стишок, когда колотит из-за пустого кошелька! Мысль, вдохновение, энергия, стиль, обаяние — все требует оплаты наличными.

Тем не менее обозрение полок принесло и некое утешение. Столько писаний намертво потухших, убранных с глаз долой. У всех нас одна судьба. Memento mori. И тебе, и мне, и чванным молодчикам из Кембриджа забвение (хотя для этих подлецов финиш чуть отодвинут). Взгляд упал на сваленные вниз объемистые труды «классиков» — мертвечина. Карлейль и Рескин, Мередит и Стивенсон — все, к чертям собачьим, покойники. Что здесь почти стертым тиснени-